

Лариса КЕФФЕЛЬ-НАУМОВА

ЖИЗНЬ ПЕЛАГЕИ

— Польшка! Ты Богу молился?

В темноте за окнами мелькнула тень. Пелагея вскрикнула от неожиданности и страха. Вскочила с колен. Окошко в избе было занавешено до половины. В верхней половине прижатая к стеклу довольная морда Захарки Серюкина — председателя колхоза.

— Ну чяво тебе? Иди куды шёл. Брédить впотьмах! — Пелагея стукнула по стеклу.

Физиономия исчезла. Оглянулась, не услышал кто. На полатах посапывали ребята. Присела на лавку. Сняла платок, расплела собранную на затылке косу. Стала чесать гребёнкой. Перебирала невесёлые мысли. Уезжать надо. Здесь она у всех как кость в горле. Раскулаченная. К Калинину ездила. Брат сводный Кузьма помог. Восстановили в колхозе. Работала как лошадь. Снопы вязать? Польшка! Молотить? Веять? Опять она лучше всех. И председательша сельсовета, хоть и родня дальняя, а совсем её затюкала, змеюка подколодная. В Москву подаваться надо, а как? Пачпорт в Троекурово. Если этот самый председатель разрешит. А он ей простить не может. Обиду держит. Когда-то Серюкин к ней сватался. Отказала ему, за Андрея вышла. Сама-то была не красавица. Впалые тёмные глаза, нос мясистый, смуглая кожа, без румянца, тонкие волосы заплетены и закручены в пучок, всю жизнь под платком. Небольшой рот сжат. Неулыба. Высокая. В отца. Заморенная работой. Уработанная с детства. Корову подои, выгони. И хлев почисть. Овцам, курам, гусям дай, двор подмети, полы в избе отскреби. В огороде чтобы ни травинки. И в колхозе папешь — не перепапешь. Отец строгий, злой был. И на улицу не пустит. Работай до ночи. Дел не переделай. Ботинки прятала в хлев. Таясь, убегала. А Андрюшка красивый был, аж сердце заходило, а что толку? На базар поедет — просит его: «Андрюша! Не пей! Дома выпьешь. Спрячь деньги в портянки». Приедет — портянки размотаны, денег нету. А тут ещё пришла разнарядка. В кулаки его записали. Завербовался на Дальний Восток. Бурильщиком. Письма ей шлёт. Ревнует. «Вы и ваши друзья... Председатель там у вас в дом похаживает». Сестра мужа ему отписала, полуглупая дура! Он деньги сестре и прислал, а ей и четверым ребятам, и матери своей, которая у неё в доме живет, — ничего.

Дети вечно голодные. Всё колхоз отбирает. И молоко им подай. И яйца. И зерно вычистят. Оставят крохи. Плохо без мужика. Нету больше мочи.

И она заплакала.

Давеча повезла со своего огорода табак в Москву на рынок. А нельзя было продавать. Обернула она в несколько раз вокруг себя огромные листья табака, обвязала верёвкой. Сверху надела юбку с кофтой. Радовалась, что такую хитрость придумала. Села в вагон, а в дороге упала в обморок. Сняли её с поезда. Еле откачали. Дохтур сказал, что дурная, мол. Помереть ведь могла. Яд табачный в тело проник и отравил. Вот тебе и придумала.

Подружка у Пелагеи закадычная — Луша. Ловчее их двоих в колхозе не найти. Всё вместе. Всё у них спорилось. А как плясать или петь на деревенских праздниках, так лучше их тоже не сыскать, хоть и бабы уже, не девки.

Луша жалела подругу:

— Полина! Хватит тебе здесь маяться. В Москву тебе надо. Там посытнее. Обживёшься и детей возьмёшь.

— Да как же я уеду? А пачпорт?

— Уговорим Серюкина. Слушай, что я придумала-то!

Вот сговорились они с Лушей, как, значит, председателя обмануть, пачпорт у него выпросить.

Заготовили бутылъ с самогоном. Закуски. Радит такого дела сало, что в погребележало припрятанное, завёрнутое в тряпицу, вытащила. Картошки наварила. Огурчиков солёных из-под гнёта набрала. Прознали, что Серюкин один в правлении. Собрала кулёк, и пошли они с Лушей к председателю. Крутили-вертели. Мол, Полине нужен пачпорт на базар в Москву ехать, без пачпорта никак места не дадут. А сами уж бумагу написали — брат Кузьма писать умел, раздобыл колхозный бланк, — что отпускает председатель колхоза Пелагею Шунину в Москву из колхоза навсегда. Председатель подвыпил. Неграмотный был, но коммунист. Вот и выбрали его председателем. Он бумагу и подмахнул. Печать колхозную поставил.

С петухами поехала Пелагея в Троекурово. Забрала пачпорт. Прибежала домой огородами. Собрала кое-что на продажу, одежи немного — и ушла пешком на станцию, повесив мешок с чемоданом через плечо. На подороге нагнала телега — ехала из другой деревни. Её на станцию подвезла. Детишек Пелагея на мать оставила. Мать, Авдотья, согласилась. «Поезжай, дочка. Помогай тебе Господь!»

Председатель проспался. Прибежал. Да уж поздно. Нету Полины. Уехала. Он сам бумагу заверил. Признаваться, что напоили его бабы, обманули? Не стал. Так и замыл дело.

Пелагея ехала в вагоне, узлы свои держала всю дорогу, чтоб не украли. Что она Шурке-сестре скажет? Возьмёт ли сестра надолго к себе?

Доехала до Таганки. Ух, эта Москва! Народу страсть как много. Словно мураши в муравейнике. Страшно, а сдюжить надо. Обратно ей ходу нет.

На половине лестницы в подвал её встретил окрик сестры Александры:

— О! Деревня приехала! — Пелагея остановилась. То ли назад идти, то ли дальше. — Ну уж заходи, коли приехала. На базар али как?

Шурка была хорошая, но уж больно резкая. Такая уродилась. Гордость свою спрячь, Поля. Молчи, покудова не обвыкнешься. А муж её Архип — добрее мужика она не видывала — утешал Пелагею.

— Ничяво, Полина. Вот и хорошо, вот и ладно, что приехала. В тесноте, да не в обиде. Не бойсь.

Повезло. Устроилась в райисполком. Полы мыть. Пелагея была аккуратная, чистая. Через некоторое время повысили её, перевели к начальнику в приёмную убирать, чай подавать. Тому Полина тоже показалась.

— Ты, Поля, где живёшь-то?

— У сестры на сундуке. А у ней трое ребят. Да сами. В подвале живут, — Пелагея заплакала.

Начальник что-то написал на бумажке.

— Вот, Поля. Пойдёшь к коменданту женского общежития. Он тебе койку даст.

— Благодарствую, Фёдор Фомич! — и поклонилась.

— Ну-ну! Не благодари. Работница ты хорошая.

Перебралась Пелагея от сестры в общежитие.

Двух меньших девчонок в поезд посадили — и к ней в Москву. Старшая, Маня, уже трактористкой в колхозе работала, а Колюшка пас коней в ночном. В деревне в помощь матери, Авдотье, их оставила.

Пристроила дочек с собой, в общежитии. На стульях спали. Как проверка ночью, бежали, прятались в туалете.

Женщины в общежитии Пелагею любили. Работящая. Весёлая. Как начнёт что-нибудь рассказывать из деревенской своей жизни, все со смеху покатывались.

В деревню посылала посылки, что могла.

Так и жили, пока не пришла война.

— Пусть лучше здесь убьют, а в деревню не поеду! — кричала Пелагея.

Копали траншеи, окопы. Пелагея привычная. Деревенская закалка.

Ближе к концу войны Колюшке, сыну, повестка пришла. Убили малого, только восемнадцать исполнилось. Жалко-то как его было! Скорбела она по нём долго. Единственный сынок. И хлеба досыта не наелся. А что сделаешь? Не вернёшь. У всех горе. Война.

После войны Пелагее дали комнату — семиметровую. Четыре человека. Спали кто под столом, кто на матрасе. Маню из деревни взяла. Хватит ей трактористкой-то пахать.

Всех замуж выдала. Внуки пошли.

Пелагея, хоть и давно была на пенсии, а в гардеробе на заводе «Геофизика» до последнего работала. Откладывала копеечку. Внукам на гостинцы, и себя надо прокормить. Пелагея никогда ни у кого не просила, ещё дочерям сунет. На очки внуку

Мишке, тот всё время очки в школе разбивал. Или на дни рождения девчонкам.

Мать Авдотью из деревни взяла. Ходила за ней до конца. Похоронила. Дом продали. На деньги от него пальто меньшей дочке справили. Реформа тогда вышла. Деньги-то все и сгорели.

Сама вот с соседями в коммуналке. Хорошие соседи. По торговой части. Постучит в дверь Тамара:

— Тётя Поль! В магазин иду. Чего надо?

— Хлебушка чёрного!

Пелагея была верующей. В церковь ходила. Службы стояла. Постилась. За жизнь уж привыкла. Мясо редко ела.

В праздники, когда собирались у неё подружки, такие же бабки, как она, в карты играли, в лото. Пекла блины. Собирала дочек с зятьями, внучат в своей комнатке. Набивались. Пройти негде. Большая семья.

Ничего не получается! Не спится. Пелагея ещё поворочалась для порядку. Да уж немного жить-то ей осталось. Чего время на сон тратить. Думы, думы... Открыла глаза. От света лампадки в углу высветилась вся комната. Угол старого буфета, в правом ящике которого она хранила заветное: последние письма сына Коли с фронта, газету меньшей дочки Маринки. Чемпионкой Москвы по лыжам в молодости стала. В газете о ней прописали. В параде на 800-летие Москвы участвовала. Пелагея как увидела её в чёрных трусах и футболке, тесно обтянувшей грудь, так и охнула, сказала строго: «Больше не смей туды ходить». Ещё там лежало написанное братом Кузьмой прошение с косой резолюцией Калинина под письмом: «Всё вернуть. Восстановить в колхозе!» Часы-ходики на стене, отсчитывающие её последние денёчки, качали золочёным маятником, на который тоже попадал отсвет мигающей лампадки, метался яркой звёздочкой туда-сюда, туда-сюда. Дубовый шкаф с зеркалом матово отблескивал. В нём её одежда. Зимнее и демисезонное пальто, пара самовязанных кофт, байковых платьев и летних штапельных. Всё ей Маринка нашила. Портнихой стала. А то спортсменкой хотела, ещё чего! На топчане посापывала старшая дочь Маруся. Завтра к обеду придет её сменить средняя, Татьяна. Хоть и нехорошо, а любила она среднюю. Та придёт, сядет, неторопливо поговорит с ней, времени на разговоры с матерью не жалеет. А у двух других желания поговорить нет. Приберутся, покормят и уйдут. А уж к вечеру ворвётся, как вихрь, задыхаясь, вся уезженная, меньшая, Марина. У той семья, работа. И в ателье шьёт, и на дому. Муж у неё начальник. Где-то руководит. Заводом, что ли... Маринка всегда торопится. Внучка в этом году школу заканчивает.

Пелагея спустила ноги с кровати. Посмотрела на таблетки на тумбочке и стакан с чуть заколыхавшейся водой.

Вот болеет она только. В больнице отлежала. Дочки ухаживали в очередь.

— Какие у вас хорошие дочери! — похвалил молодой врач.

Пелагея вздохнула. Наморщила лоб. «Как болячка-то называется? Всё забываю. Слово не выговоришь Научное. Мудрёное. Нет. Никак не вспомнить. Уж больно редкая, врач сказал, болезнь».

Да. Жизнь прошла. Грех жаловаться.

Пелагея зажгла свечку у икон. Встала, тихонько кряхтя, на колени, прислушиваясь, чтобы не разбудить Марусю.

Слава Богу за всё!